



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Загон

Содержание

#1	0005
I. Тяготение к желудю и к корыту	0008
II. Шут Севацкой	0015
III. Лечение сажей	0025
IV. Всевозможные бетизы	0029
V. Интервал	0033
VI. Возвышенные порывы	0045
VII. Апофеоз	0057

Николай Лесков

Загон

Discipline arcani[1] существует в полной силе: цель ее – предоставить ближним удобство мирно копать в свиных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов.

Дж. Марлей. «О компромиссе».

За послушание истине – верят лжи и заблуждениям.

2 Фес. II, 10–11.

В одном произведении Достоевского выведен офицерский денщик, который разделял свет на две неравные половины; к одной он причислял «себя и своего барина, а к другой всю остальную сволочь». Несмотря на то, что такое разделение смешно и глупо, в нашем обществе никогда не переводились охотники подражать офицерскому денщику, и притом в гораздо более широкой сфере. В последнее время выходки в этом роде стали как будто манией. В конце сентября 1893 года в заседании Общества содействия русской промышленности и торговле один оратор прямо заговорил, что «Россия должна обособиться, забыть существование других западноевро-

пейских государств, *отделиться от них китайскою стеною*».

Такое стремление отгораживаться от света стеною нам не ново, но последствия этого всегда были для нас невыгодны, как это доказано еще в «творении» Тюнена «*Der isolierte Staat*» (1826), которое в 1857 году у нас считали нужным «приспособить для русских читателей», для чего это творение и было переведено и напечатано в том же 1857 году в Карлсруэ, в придворной типографии, а в России оно распространялось с разрешения петербургского цензурного комитета.[2]

Одновременно с тем, как у нас читали приспособленную для нас часть «творения» Тюнена, в качестве художественной иллюстрации к этой книге обращалась печатная картинка, на которой был изображен темный загон, окруженный стеною, в которой кое-где пробивались трещинки, и через них в сплошную тьму сквозили к нам слабые лучи света.

Таким «загоном» представлялось «уединенное государство», в котором все хотели узнавать Россию, и для тех, кто так думал, казалось, что нам нельзя оставаться при нашей

замкнутости, а надо вступать в широкое международное общение с миром. Отсталость русских тогда безбоязненно сознавали во всем; но всего более были удивлены тем, что мы отстали от западных людей даже в искусстве обрабатывать землю. Мы имели твердую уверенность, что у нас «житница Европы», и вдруг в этом пришлось усомниться. Люди ясного ума указывали нам, что русское полеводство из рук вон плохо и что если оно не будет улучшено, то это скоро может угрожать России бедствием. Причину этого видели в том, что наши крестьяне обрабатывают землю очень старыми и дурными орудиями и ни с чем лучшим по дикости своей и необразованности обращаться не умеют, а если дать им хорошие вещи, то они сделают с ними то, что делали с бисером упомянутые в Евангелии свиньи (Мф. VII, 3).

Я позволю себе предложить здесь кое-что из того, что мне привелось видеть в этом роде.

Это касается крестьян и не крестьян.

I. Тяготение к желудю и к корыту

В моих отрывочных воспоминаниях я не раз говорил о некоторых лицах английской семьи Шкот. Их отец и три сына управляли огромными имениями Нарышкиных и Перовских и слыли в свое время за честных людей и за хороших хозяев. Теперь здесь опять нужно упомянуть о двух из этих Шкотов.

Александр Яковлевич Шкот – сын «старого Шкота» (Джемса), после которого у Перовского служили Веригин и известный «аболиционист» Журавский, – многократно рассказывал, какие хлопоты перенес его отец, желая научить русских мужиков пахать землю как следует, и от каких, по-видимому, неважных и пустых причин все эти хлопоты не только пропали без всякой пользы, но еще едва не сделали его виноватым в преступлении, о котором он никогда не думал.

Старый Шкот как приехал в Россию, так увидел, что русские мужики пахут скверно и что если они не станут пахать лучше, то зем-

ля скоро выпашется и обессилеет. Это предсказание было сделано не только для орловского неглубокого чернозема, но и для девственной почвы степей, которые теперь заносит песками.[3] Предвидя это огромное и неминуемое бедствие, Шкот захотел вывести из употребления дрянные русские сохи и бороны и заменить их лучшими орудиями. Он надеялся, что когда это удастся ему в имениях Перовского, тогда Перовский не откажется ввести улучшение во всех подведомых ему удельных имениях, и дело получит всеобщее применение.

Перовский, кажется, говорил об этом с императором Николаем Павловичем и в очень хорошем расположении духа, прощаясь в Москве со Шкотом, сказал:

– Поезжайте с богом и начинайте!

Дело заключалось в следующем.

По переселении орловских крестьян с выпашанных ими земель на девственный чернозем в нижнем Поволжье Шкот решился здесь отнять у них их «Гостомысловы ковырялки», или сохи, и приучить пахать легкими пароконными плужками Смайля; но крестьяне та-

кой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою «ковырялку» и за бороны с деревянными клещами. Крестьяне, выведенные сюда же из малороссийской Украины, умели пахать лучше орловцев; но тяжелые малороссийские плуги требовали много упряжных волов, которых налицо не было, потому что их истребил падеж.

Тогда Шкот выписал три пароконные плужка Смайля и, чтобы ознакомить с ними пахарей, взялся за один из них сам, к другому поставил сына своего Александра, а к третьему – ловкого и смышленного крестьянского парня. Все они стали разом на равных поста-
тях, и дело пошло прекрасно. Крестьянский парень, пахавший третьим плугом, как человек молодой и сильный, сразу же опахал обо-
их англичан – отца и сына и получил награждение, и *снасть одобрил*. Затем к плужкам по-
переменно допускались разные люди, и все находили, что «снасть способна». К году на этом участке пришел хороший урожай, и случи-
лось так, что в этом же году представилась возможность показать все дело Перовскому, который «следовал» куда-то в сопровождении

каких-то особ.

Известно, что граф был человек просвещенный и имел характер благородный. За что за ним было усвоено прозвание «рыцарь».

Шкот, встретив владельца, вывел перед лицо его пахарей и поставил рядом русскую соху-«ковырялку», тяжелый малороссийский плуг, запряженный в «пять супругов волов», и легкий, «способный» смайлевский плуг на паре обыкновенных крестьянских лошадок. Стали немедленно делать пробу пашни.

Пробные борозды самым наглядным образом показали многосторонние преимущества смайлевского плужка не только перед великорусскою «ковырялкою», но и перед тяжелым малороссийским плугом. Перовский был очень доволен, пожал не один раз руку Шкоту и сказал ему:

– Сохе сегодня конец: я употреблю все усилия, чтобы немедленно же заменить ее плужками во всех удельных имениях.

А чтобы еще более поддержать авторитет своего англичанина, он, развеселясь, обратился к «хозяевам» и спросил, хорошо ли плужок

пашет.

Крестьяне ответили:

– Это как твоей милости угодно.

– Знаю я это; но я хочу знать *ваше мнение*: хорошо или нет таким плужком пахать?

Тогда из середины толпы вылез какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил:

– Где сими плужками пашут (или урут)?

Граф ему рассказал, что пашут «сими плужками» в чужих краях, в Англии, за границую.

– То значит, в німцах?

– Ну, в немцах!

Старик продолжал:

– Это вот, значит, у тех, що у нас хлеб купуют?

– Ну да – пожалуй, у тех.

– То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?

Вышло «табло», и просвещенный ум Перовского не знал, как отшутить мужику его шутку. И все бывшие при этом случайные особы схватили этот «замысловатый ответ

крестьянина» и, к несчастью, не забыли его до Петербурга; а в Петербурге он получил огласку и надоел Перовскому до того, что когда император по какому-то случаю спросил: «А у тебя все еще англичанин управляет?», то Перовский подумал, что дело опять дойдет до «остроумного ответа», и на всякий случай предпочел сказать, что англичанин у него более уже не управляет.

Государь на это заметил: «То-то!» и более об этом не говорил; а Перовский, возвратясь домой, написал Шкоту, что он должен оставить степи, и предложил устроить его иначе.

Честный англичанин обиделся; забрал с собой плужки, чтоб они не стояли на счету экономии, и уехал.

Дело «ковырялки» было выиграно и в таком положении остается до сего дня.

Смайлевские плужки, которыми старый Шкот хотел научить пришедших с выпаханых полей переселенцев «воздымать» тучные земли их нового поселения на заволжском просторе, я видел в пятидесятых годах в пустом каменном сарае села Райского, перешедшего к Александру Шкоту от Ник. Ал. Всево-

ЛОЖСКОГО.

II. Шут Севацкой

Всеволожский тоже интересный человек своего времени. Для большинства его современников он был знаменит только как безумный мот, который прожил в короткое время огромное состояние; но в нем было и другое, за что его можно помянуть добром.

Он жил как будто в каком-то исступлении или в чаду, который у него не проходил до тех пор, пока он не преобразился из миллионера в нищего. Личная роскошь Всеволожского была чрезвычайна. Он не только выписывал себе и своей супруге (урожденной Клушиной) все туалетные вещи и платья «прямо из Парижа», но к нему оттуда же должны были спешно являться в Пензу французские рыбы и деликатесы, которыми он угощал кого попало. Он одинаково кормил деликатесами и тогдашнего пензенского губернатора Панчулидзева («меломана и зверя»), и приказных его канцелярии, и дворянских сошек, из которых многие не умели положить себе на тарелки то, что им подносили. Пожилой буфетчик Всеволожского, служивший после его разоре-

ния у других таких же, как Всеволожский, обстоятельных людей (Данилевского и Савинского), говорил:

– Бывало, подаешь заседателю Б. французский паштет, а у самого слезы на рукав фрака падают. Видеть стыдно, как он все расковыряет, а взять не умеет. И шепнешь ему, бывало: «Ваше высокородие! Не угодно ли я вам лучше икорки подам?» А он и сам рад: «Сделай милость, говорит, я икру обожаю!»

Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, раздевали, живых в гробы укладывали и нагих баб над ними стоять ставили, а потом кидали им что-нибудь в награду и изгоняли. Это делали все или почти все, И Всеволожский грешен такими забавами, может быть, даже меньше, чем другие. Но Всеволожский ввел ересь: он стал заботиться, чтобы его крестьянам в селе Райском было лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда их вывели. Всеволожский приготовил к их приходу на новое место целую «каменную деревню».

О таких чистых и удобных помещениях и помышлять не могли орловские крестьяне,

всегда живущие в беструбных избах. Все дома, приготовленные для крестьян в новой деревне, были одинаковой величины и сложены из хорошего прожженного кирпича, с печами, трубами и полами, под высокими черепичными крышами. Выведен был этот «порядок» в линию на горном берегу быстрого ручья, за которым шел дремучий бор с заповедными и «клейменными» в петровское время «мачтовыми» деревьями изумительной чистоты, прямизны и роста. В этом бору было такое множество дичи и зверья и такое изобилие всякой ягоды и белых грибов, что казалось, будто всего этого век есть и не пересть. Но орловские крестьяне, пришедшее в это раздолье из своей тесноты, где «курицу и тае выпустить некуда», как увидали «каменную деревню», так и уперлись, чтобы не жить в ней.

– Это, мол, что за выдумка! И деды наши не жили в камени, и мы не станем.

Забраковали новые дома и тотчас же придумали, как им устроиться в своем вкусе.

Благодаря чрезвычайной дешевизне строевого леса здесь платили тогда за избяной сруб

от пяти до десяти рублей. «Переведенцы» сейчас же «из последних сил» купили себе самые дешёвенькие срубцы, приткнули их где попало, «на задах», за каменными жильями, и стали в них жить без труб, в тесноте и копоти, а свои просторные каменные дома определили «ходить до ветру», что и исполняли.

Не прошло одного месяца, как все домики прекрасней постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во всех окнах стекла были повывбиты, и оттуда валил смрад.

По учреждении такого порядка на всех подторжьях и ярмарках люди сообщали друг другу с радостью, что «райские мужики своему барину каменную деревню всю запакостили».

Все отвечали:

– Так ему и надо!

– Шут этакой: что выдумал!

– Вали, вали ему на голову; вали!

За что они на него злобствовали, – этого, я думаю, они и сами себе объяснить не могли; но только они как оцетинились, так и не

приняли себе ни одного его благодеяния. Он, например, построил им в селе общую баню, в которую всем можно было ходить мыться, и завел школу, в которой хотел обучать грамоте мальчиков и девочек; но крестьяне в баню не стали ходить, находя, что в ней будто «ноги стынут», а о школе шумели: зачем нашим детям умнее отцов быть?

– Мы ли-де своим детям не родители: наши ли сыновья не пьяницы!

Дворяне этому радовались, потому что если бы райские крестьяне приняли благодеяния своего помещика иначе, то это могло послужить вредным примером для других, которые продолжали жить как обры и дулебы, «образом звериным».

Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было остерегаться.

Когда «райский барин» промотался и сбежал, его каменное село перешло с аукционного торга к двум владельцам, из которых, по воле судьбы, один был Александр Шкот – сын того самого Джемса Шкота, который хотел научить пахать землю хорошими орудиями.[4]

Переход этот состоялся в начале пятидесятых годов. Тогда мужики в Райском все «севацкое» уже «обгадили на отделку», а сами задыхались и слепли в «куренках». Ф. Селиванов в своей части села Райского оставил мужиков в куренках, но Шкот не мог этого переносить. Он не был филантроп и смотрел на крестьян прямо как на «рабочую силу»; но он берег эту силу и сразу же учел, что потворствовать мужичьей прихоти нельзя, что множество слепых и удушливых приносят ему большой экономический ущерб. Шкот стал уговаривать мужиков, чтобы они обчистили каменные дома и перешли в них жить; но мужики взъерошились и объявили, что в тех домах жить нельзя. Им указали на дворовых, которые жили в каменных домах.

– Мало ли что подневольно делается, – отвечали крестьяне, – а мы не хотим. В каменном жить, это все равно что острог. Захотел перегонять, так уж лучше пусть прямо в острог и стонит: мы все и пойдем в острог.

От убеждений перешли к наказаниям и кого-то высекли, но и это не помогло; а Шкоту через исправника Мура (тоже из англичан)

было сделано от Панчулидзева предупреждение, чтобы он не раздражал крестьян.

Шкот осердился и поехал к губернатору объясняться, с желанием доказать, что он старался сделать людям не злое, а доброе и если наказал одного или двух человек, то «без жестокости», тогда как все без исключения наказывают без милосердия; но Панчулидзева держал голову высоко и не позволял себе ничего объяснять. С Шкотом он был «знаком по музыке», так как Шкот хорошо играл на виолончели и участвовал в губернаторских симфонических концертах; но тут он его даже не принял.

Шкот написал Панчулидзеву дерзкое письмо, которого тот не мог никому показать, так как в нем упоминалось о прежних сношениях автора по должности главноуправляющего именными министра, перечислялись «дары» и указывались такие дела, «за которые человеку надо бы не губернией править, а сидеть в остроге». И Панчулидзева снес это письмо и ничего на него не ответил. Письмо содержало в себе много правды и послужило материалом для борьбы Зарина, окончившейся сме-

щением Панчулидзева с губернаторства. Но тогда еще в Загоне не верили, что что-нибудь подобное может случиться и расшевелить застоявшееся болото.

Смелее прочих сторону губернатора поддерживал дворянский предводитель, генерал Арапов, о котором тоже упоминалось в письме как о нестерпимом самочинце. А генерал Арапов, в свою очередь, был славен и жил широко; в его доме на Лекарской улице был «открытый стол» и самые злые собаки, а при столе были свои писатели и поэты. Отсюда на Шкота пошли пасквили, а вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, как у нас в России все хорошо и просто и все сообразно нашему климату и вкусам и привычкам нашего доброго народа. И народ это понимает и ценит и ничего лучшего себе не желает; но есть пустые люди, которые этого не видят и не понимают и выдумывают незнать для чего самые глупые и смешные выдумки. В пример была взята курная изба и показаны ее разнообразные удобства: кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, если вникнуть, то она и прекрасна, и жить в ней гораз-

до лучше, чем в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой каменной. Это вот гадость уж во всех отношениях! В куренке топлива идет мало, а тепло как у Христа за пазухой. А в воздухе чувствуется легкость; на широкой печи в ней способно и спать, и отогреться, и онучи и лапти высушить, и веретье оттаять, и нечисть из курной избы бежит, да и что теленок с овцой насмердят, – во время топки все опять дверью вон вытянет. Где же и как можно все это сделать в чистой горнице? А главное, что в курной избе хорошо, – это *сажа*! Ни в каком другом краю теперь уже нет «черной, лоснящейся сажи» на стенах крестьянского жилища, – везде «это потеряно», а у нас еще есть! А от сажи не только никакая мелкая гадь в стене не водится, но эта сажа имеет очень важные лечебные свойства, и «наши добрые мужички с великою пользою могут пить ее, смешивая с нашим простым, добрым русским вином».

Словом – в курной избе, по словам брошюры, было целое уголье.

«Русская партия» торжествовала победу; ничего нового не надо: надо жить по стари-

не – в куренке и лечиться сажею.

III. Лечение сажей

Англичанин смеялся.

– Мало им, что люди в этой саже живут и слепнут, – они еще хотят обучить их пить ее с водкою! Это преступление!

Шкот сам умел стряпать брошюры, – это их англичанская страсть, – и он поехал в Петербург, чтобы напечатать, что крестьяне слепнут и наживают удушье от курных изб; но напечатать свою брошюру о том, что крестьяне слепнут, ему не удалось, а противная партия, случайно или нет, была поддержана в листке, который выходил в Петербурге «под гербом» и за подписью редактора Бурнашова.[5]

Рачением Бурнашова почти одновременно вышли две хозяйственные брошюры: одна «О благотворном врачебном действии коры и молодых побегов ясенева дерева», а другая «О целебных свойствах лоснящейся сажки». Исправники и благочинные должны были содействовать распространению этих полезных брошюр.

В брошюре о ясени сообщалось, что этим деревом можно обезопасить себя от ядовитых

отрав и укушений гадами. Стоило только иметь при себе ясеневую палочку – и можно легко узнавать, где есть в земле хорошая вода; щелоком из ясеновой коры стоит вымыть ошелудивевших детей, и они очистятся; золою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодуще, чем без ясеня. Бабам яшень унимал кровоток и еще делал много других вещей, про которые через столько лет трудно вспомнить. Но избяная «лоснящаяся сажа» перевозилась еще выше.

В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее брошюры о ясени, утвердительно говорилось, что ею, при благословении Божиим, можно излечивать почти все человеческие болезни, а особенно «болезни женского пола». Нужна была только при этом сноровка, как согреть сажу, то есть скрести ее сверху вниз или снизу вверх. От этого изменялись ее медицинские свойства: собранная в одном направлении, она поднимала опавшее, а взятая иначе, она опускала то, что надо понизить. А получать ее можно было только в рус-

ских курных избах, и нигде иначе, так как нужна была сажа *лоснящаяся*, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашей сажеею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоты или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. Конкурентов нам не будет.

Это говорилось всерьез, и сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во всем мире.

Загон был доволен: осатанелые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажеею. «Лоснящуюся сажу» рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать: скольким людям это стоило жизни! Но тем не менее брошюра о сажее имела распространение.

Радовались, что не послушались затейников и уберегли свои избы; а затейников бранили и порочили и припоминали их в большом числе, перемешивая умных с безумными: Сперанского с Всеволожским.

– Помилуй бог, если бы им тогда волю дали! Что бы они наделали!

На губернских балах той самой баснословной пензенской знати, которая столь обмелела, что кичилась своею «араповщиной», – между бесстыжими выходками всякой пошлости прославляли «ум и чуткость русского земледельца», который не захотел жить в *чистом доме*. При этом разоренный и отсутствующий Всеволожский всякий раз был осмеиваем, и ни одному из благородных людей, евших его деликатесы, не пришло в голову отыскать его на мостовой, для которой он бил камни, и отдать ему хоть частицу тех денег, которые у него были заняты.

Но его еще хотели сделать посмешищем на вечные времена.

IV. Всевозможные бетизы

Некто С., ничтожный «человек высокого происхождения по боковой линии», замечательный удивительным сходством с Ноздревым и также член и душа общества, напившись предводительского вина, подал мысль собрать «музей бетизов» Всеволожского, чтобы все видели, *«чего в России не нужно»*.

Бетрищеву это понравилось, и он хохотал и обещал не пожалеть тысячи рублей, чтобы такой «музей бетизов» был устроен.

Тысяч у него было много!

Вспомнили все, что надо почитать за «бетизы». Набиралось много: Всеволожский не только построил каменные жилые помещения для крестьян, но он выписал для них плуги, жнеи, веялки и молотилки от Бутенопа; он завел школу и больницу, кирпичеделательную машину и первый медный ректификатор Шварца на винном заводе. С ректификатором еще пошли осложнения: крестьяне в этом ректификаторе забили трубки, и в приемник полилась вонючая и теплая муть вместо спирта, а на корде рабочие быки, пригнанные

хохлами для выкормки их бардою, пришли в бешенство, оттого что они напились пьяны, задрали хвосты, бодались и перекалечили друг друга почти наполовину.

Всеволожский заплатил хохлам за погибших от опойства и драки быков и еще приплатил, чтобы не говорили о происшедшем у него на заводе скандале.

Этого нельзя было «скупить» и выставить, но это положили заказать написать на картине живописцу Петру Соколову: «Он, правда, берет дорого, но он свой брат дворянин и с ним можно поторговаться».

«Бетизы» Ноздрев обещал свезти в Пензу; но, выехав с генеральскими деньгами в Райское, Ноздрев остановился переменить лошадей у мордвина в с. Чемодановке, которая тогда принадлежала сыну знаменитого военного историка Михайловского-Данилевского, Леониду, а этот дворянин имел обыкновение приглашать к себе проезжающих, угощал их и играл с ними в карты. И Ноздрев в силу этого обычая тоже был приглашен через верхового посланца к чемодановскому барину и там «потерял деньги» и уже ни в Райское не

поехал, ни в Пензу не возвратился, а отбыл домой, пока дело о бетизах придет в забвение.

«Бетизы» долежались в Райском до Шкота. Он мне их показывал, и я их видел, и это было грустное и глубоко терзающее позорище!.. Все это были хорошие, полезные и крайне нужные вещи, и они не принесли никакой пользы, а только сокрушили тех, кто их припас здесь. И к ним, к «севацким бетизам», Шкот придвинул свои и отцовские «улучшенные орудия» и, трясаясь от старости, тихо шамкал:

– Все это не годится в России.

– Вы шутите, дядя!

– Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.

– Не зол, дядя!

– Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!

В этой Пензе, представлявшей одно из самых темных отделений Загона, люди дошли до того, что хотели учредить у себя все наоборот: улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним никто не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил смерть. Полицейские чины грабили людей на площади; предводительские собаки терзали людей на Лекарской улице в виду самого генерала с одной стороны и исправника Фролова – с другой; а губернатор собственноручно бил людей на улице нагайкою; ходили ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего сословия... Словом, это был уже не город, а какое-то разбойное становище. И увидел бог, что злы здесь дела всех, и, не обретя ни одного праведного, наслал на них Ефима Федоровича Зарина, вызвавшего сенаторскую ревизию.

V. Интервал

Сделаем шаг в сторону, где больше света. В Европе нам оказали непочтительность: мы увидели надобность взять в руки оружие. Сценой действия сделался наш Крым. Регулярные полки и ратники ополчения тащились на ногах через Киев, где их встречал поэт из птенцов Киевской духовной академии Аскоченский и командовал: «На молитву здесь, друзья! Киев перед вами!» А к другим он оборачивался и грозил: «Не хвались, иду на рать, а идучи с...».[6]

Скоро оказалось, что те, которых мы уговариваем «не хвалиться», на самом деле гораздо меньше нас хвалятся, но, к совершенной неожиданности, оказываются во всем нас успешнее. К тому же вкралось много воровства, и дела у нас пошли худо. Все это известно и переизвестно, но, к несчастью, кажется, уже позабыто. Но много любопытного осталось в неизвестности до сих пор. В числе анекдотов и казусов этого времени припоминаю, как в Пензу были присланы два взятые в плен английские военные инженера, из кото-

рых один назывался Миллер. Говорили, будто он отличался знанием строительного искусства и большим бесстрашием. Во всяком случае он был на лучшем счету у Непира. А у нас он осрамил себя сразу и окончательно! Как только этого Миллера привезли – Шкот пошел навестить его. Сделал он это, как земляк, и ему это в вину не поставилось. Он просидел у пленного вечер, а на другой день английский инженер пошел отдать ему визит, но был так глуп, что думал, будто надо идти по тротуару, а не посреди улицы, которая, впрочем, была покрыта жидкою грязью по колено.

Миллер пошел по пензенским тротуарам, по которым в Пензе *не ходили*.

И Шкот не сказал ему этого.

За это тротуарная доска спустила английского инженера одним концом в клоаку, а другим прихлопнула его по темени, и дело с ним было кончено.

Это было смешно! Не знали только, как с этим поступить: стыдиться или хвалиться? В Крыму уцелел от всех пушек, а в Пензе доской прихлопнуло. Забавно!

А виноват был Шкот: он должен был его

сразу же предупредить, что по тротуарам не ходят. Но он англичанин... он хитрый человек, он нарочно хотел создать историю...

Старик Шкот вышел из себя и послал вызов на дуэль генералу Арапову, в доме которого это говорили.

Генерал не отвечал, но стал ездить в закрытой карете.

Шло что-то новое: бахвальства сменились картинками «Изнанки Крымской войны» и «Параллелями» Палимпсестова. «Параллели» особенно смутили Загон, так как там просто, но обстоятельно было собрано на вид, что есть у нас и что в соответствие нашему убожеству представляет жизнь за окружающей нас Загон стеною. По рукам у нас пошла печатная картина, где наш Загон изображен был темным и безотрадным, но крепко огражденным китайскою стеною. С внешней стороны разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки и образовали трещины, в которые скользили лучи света. Лучи эти кое-что освещали, и то, что можно было рассмотреть, – было ужасно. Но все понимали, что это далеко не все, что надо

было осветить, и сразу же пошла борьба: светить больше или совсем задуть свечеч? Являлись заботы о том, чтобы забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламом, и среди затыкавших выделялась одна голова с чертами знаменитого тогдашнего современника. На картинке он говорил: «Оставьте: если это от людей, то это исчезнет, а если от Бога, то вы света остановить не можете». Почти те же самые, или по крайней мере в этом духе и роде, вел он беседы и на самом деле. Это был любимец и настоящий герой самых прекрасных дней в России: это был Пирогов. О нем говорили, что «он во время войны резал руки и ноги, а после войны приставляет головы». Все понимали одно, что Пирогов хотел «воспитать человека» и что нам это всего нужнее, так как мы очень невоспитанны.

Такое чистосердечное сознание в своем грехе свидетельствовало, разумеется, о счастливой способности нации к быстрому улучшению. Пироговские «Вопросы жизни» были напечатаны в «Морском сборнике» по приказанию великого князя Константина Николае-

вича. Пирогову доверялись и его хвалили не только взрослые и умные люди, но даже «дети» и, кажется, «камни». В феврале 1859 года в Одессе был выпущен «Новороссийский литературный сборник», издателем которого был очень мало знающий в литературе человек, А. Георгиевский, но и он посвятил свой сборник «имени Н. И. Пирогова». По словам этого г. А. Георгиевского, на Пирогова «Россия должна смотреть с гордостью, ибо его деятельность обещала много добра впереди». А. Георгиевский особенно указывал на старания Пирогова «вызвать в крае умственную деятельность, главным поприщем для которой служит литература» (Предисл., II). По разъяснению г. А. Георгиевского, это должно было идти так, что «дело самосознания каждая местность должна совершить собственными средствами, чрез посредство своей местной литературы, ибо централизация умственной деятельности есть явление ненормальное и вредное, которое парализует жизнь остальных частей, стягивая все силы к одному пункту» (ibid., III). В сборнике главной статьей был отрывок Пирогова под заглавием «Чего

мы желаем?». Здесь рассматривался вопрос о высшем образовании в независимости от «одной только ближайшей цели» (185). Пирогов выяснял, что, «преследуя одно ближайшее, мы незаметно попадем в лабиринт, из которого трудно будет выбраться» (186). А «по закону противодействия может начаться на другой улице праздник». Но мы так полны были радостей, что ничего не опасались, и, ходя по тропинке бедствий, не ожидали последствий. Удадь и бахвальство шибали в другую сторону: на проводы Пирогова собрались «тьмы». Это действительно был «излюбленный человек», с которым людям было больно и тяжело расстаться. Прощаясь с ним, плакали, и одна молоденькая институтка, вскочив на стол с поломанной ножкой, громко вскрикнула: «Будьте нашим президентом!» – и сама упала вместе со столом... Несколько человек ее подхватили. Она была вне себя и все кричала: «президент!» и жаловалась на боль в коленке.

В числе лиц, суетившихся вокруг этой юной особы, были флотский доктор, мичман и штаб-офицер в голубей форме. Последний

желал у нее о чем-то осведомиться, но флотский доктор сурово отстранил его и сказал:

– Разве вы не видите, что девушка в истерике!

А другие ему закричали:

– Стыдно, полковник, стыдно!

И полковник уступил и только спросил у какого-то простолюдина:

– Что такое она тут чекотала?

А тот ему «неглежа» ответил:

– Чекотала чечётка, видно чечета звала.

– Ага! – сказал, не обижаясь, полковник, – петушка кличет!

– Разумеется.

И в самом деле, явился петушок, с которым чечетку обвенчали с удивительною поспешностью.

А важное дело образования, которое так широко понимал Пирогов, было решено «в тоне полумер», которых всего более Пирогов опасался... Потом и сам Пирогов подпал осмеянию в передовом из тогдашних журналов и был не только удален от воспитательного дела, но, по словам, сказанным им на его юбилее, он еще «был оклеветан», и даже г. А. Геор-

гиевский уже не защищал его...

Затем Катков открыл в правительстве бес-
силые и слабость и стал пугать, что нас «ско-
ро отмежут от Европы по Нарву» и что на-
ши петербургские генеральши будут этому
очень рады, «потому что им станет близко ез-
дить за границу». От дам чего не станется!
Опять бы им надвинуть на уши повойники,
да и рассадить их по теремам.

Появилась и книжка с таким направлени-
ем, напечатанная в Петербурге, а из Москвы и
на всех вообще раздался окрик: «Назад! До-
мой!»

И это уже не казалось дико, а стало мод-
ным словом.

Интервал проходил.

Появились знаменитости, каких нет на За-
паде и которым Запад должен был позавидо-
вать. Прослыл в ученых Маклай, сочинений
которого в России до сих пор не читали; а по-
том г. Катков отыскал и проявил в свет *воите-
ля* Ашинова, «вольного казака», который, по
мнению г. Каткова, внушал полное доверие.
Его поддерживали другие знаменитые люди:
Вис. Комаров, Вас. Аристов, свящ. Наумович и

другие, имена которых останутся навсегда связанными с этим «историческим явлением». Я его помню в одной торжественной обстановке среди именитых лиц: рыжий, коренастый, с круглыми бегающими глазами и куцупыми руками, покрытыми веснушками... Он был превосходен в своем роде. Его ассистировали Комаров, Аристов и Наумович, и еще один русский поэт из чиновников, и три «только что высеченные дома болгарина»... Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англия. Для этого он не пил ничего из бокалов, которые ему подавали, а хлебал «из соседского»... Все это казалось «просто и мило». И затем уже пошла такая знаменитость, которой уже никто и не угрожал: выехал верхом казак и поехал, и (по отчету одного детского журнала) только раз один ему «пришлось купить вазелину», а между тем не только ему, но и его «сивому мерину» были оказаны все знаки почтения. Если редактор «Petersbourger Zeitung»[7] удивил некогда людей, съездив в Берлин для того, чтобы видеть Бисмарка и «поцеловать рыжую кобылу», на которой тот был в битве, то наши дамы не

уступали этому редактору в чувстве достоинства, и... сивый мерин тоже дождался такой же ласки, и притом не от мужчины... Вредных тяготений к чужеземщине, которых ожидал Катков, со стороны дам не встречалось, а наоборот, им стало нравиться все простое, не попорченное цивилизацией, даже прямо дикое.

Огромное множество людей вдруг почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволили духу времени увлечь себя слишком далеко: им было неловко, что они как будто выпятились вперед за черту, указанную благоразумием... Им стало стыдно и дико: что они, взаправду, за европейцы!

Кто-то припомнил, что и Катков некогда говорил, что «нельзя насыпать на хвост соли Европе», но теперь уже ничто подобное не казалось убедительно. Нельзя насыпать соли – и не нужно; и пошли повороты на попятный двор по всем линиям.

И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-кого напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились в Крым неготовыми во всех отно-

шениях и каким очистительным огнем прошла вся следовавшая затем «полоса покаяния»; забыли, в виду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать «освобождение рабов *сверху*», забыли даже кривосуд старых, закрытых судов, от которого страдали и стенали все. Забыли все так скоро и основательно, как никакой другой народ на свете не забывал своего горя, и еще насмеялись над всеми лучшими порядками, назвав их «припадком сумасшествия».

Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять «стена» и внутри ее – загон!

С тех пор, как произошел этот кратко мною очерченный последний оборот, я уже не бывал ни в орловских, ни в пензенских, ни в украинских деревнях, а вертелся по балтийскому побережью. Пожил я здесь в разных местах, начиная от Нарвы до Полангена, и не нашел ничего лучше, как Меррекюль, выдерживающий свою старинную и почетную репутацию. Это именно тот первый пункт за Нарвою, где, по расчету Каткова, русские гене-

ральнойши захотят сделать для себя «заграничное место». Здесь хорошо жить, потому что в Меррекюле очень красивое приморское положение, есть порядок, чистота, тихий образ жизни, множество разнообразных прогулок и изобилие русских генеральш. Очень любопытно видеть, что такое учреждают здесь теперь эти почтенные дамы, тяготевающие к чужим краям.

VI. Возвышенные порывы

О Меррекюле говорят, будто тут «чопорно»; но это, может быть, так было прежде, когда в русском обществе преобладала какая-нибудь родовая знать. Тогда тут жилали летом богатые люди из «знати», и они «тонировали». А теперь тут живут генералы и «крупные приказные» да немножко немцев и англичан, и тон Меррекюля стал мешаный и мутный.

Меррекюльские генералы, которые еще не вышли в тираж, находятся большею частью в составе каких-нибудь сильно действующих центральных учреждений, и потому они обыкновенно присутствуют шесть дней в столице, а в Меррекюль приезжают только по субботам. В течение шести будних дней в Меррекюле можно видеть только самых старых генералов, в которых столица уже не ощущает летом надобности, но они не делают лета и в Меррекюле. Украшают и оживляют место одни генеральши и их потомство – дети и внуки, которых они учат утирать носы, делать реверансы и молиться рукою. Между генеральшами одна напоминает мне преблаго-

словенное время юности, когда у нее не было еще ни детей, ни внучат и сама она была легкомысленная чечетка. Да! Здесь она, которая когда-то крикнула «президента» и упала под стол.

Ее давний «петушок» теперь достиг уже всего, чего он мог достичь, и в нынешнем году выходит в тираж. Будущим летом они уже не будут жить в Меррекюле.

Мы едва узнали друг друга и, конечно, не много говорили о прошлом. Мы чувствуем, что мы стары и нам некстати вспоминать, какие мы были в то время, когда она упала под стол. Генеральша, по-видимому, желает поддерживать со мною знакомство, но так вежлива, что старается говорить всегда о таких вещах, которые мне неинтересны. Впрочем, иногда она говорит со мною о Толстом, которого она «похоронила для себя после Анны Карениной». Как он «пошел косить» – она ему сказала: «Прощай, батюшка!» Она на него, однако, «не нападает, как другие». «Зачем, нет! Пускай он себе думает что хочет, но зачем он хочет это распространять. Это не его дело. Суворин его отлично... Он его почитает и обожа-

ет, а на предисловие к сонате отлично... Не за свое дело и не берись. Род человеческий кончатся не может... Суворин отлично!..» На эту тему генеральша неистоцима и всегда сама себе равна: Суворина она ставит высоко: «il a une bonne tête», [8] а Толстой «гениальный ум, но ce n'est pas serieux, vous savez. [9] Толстому, по-моему, одного нельзя простить, что он прислугу и мужчин портит. Это расстраивает жизнь. У меня была честная, верная служанка – и вдруг просит: „Пожалуйста, не приказывайте мне никому говорить, что вас дома нет, когда вы дома: я этого не могу“. – „Что за вздор такой!“ – „Нет-с, говорит, это ложь – я лгать не хочу“. И так и уперлась. Чтобы не давать дурного примера другим, я должна была ее отпустить, и только тогда узнала, что эта дурочка всё „посредственные книжки“ читала. Но зато теперь у меня служанка, ох, какая лгунья! Каждое слово лжет и кофе крадет; но надо их почаще менять, и тогда они лучше. Другое дело мужчины: это самый беспутный и глупый народ на свете, и главное, что с ними нельзя так часто менять, как с прислугой. У них на уме то же самое, что было у нигили-

стов – чтобы не давать содержания семейству; но это в таком роде не будет: все останется, как мы хотим».

Не знает она основательно ничего, или, точнее сказать, знает только одни родословные и мастерски следит за тем, кто из известных лиц где живет и в каких с кем находится короткостях. Она считает себя благочестивой, и ее занимает распространение православия среди инородцев. Меррекюль чрезвычайно удобен для этого рода занятий: здесь есть православный храм, «маленький, как игрушечка», много чухон или эстов, которые совсем не имеют настоящих понятий о вере. Среди них возможны большие успехи.

Прежде тут была только лютеранская каплица, построенная в лесу. Она и теперь на своем месте. Ее называют Waldkapelle.[10] Она вся из бревен и крыта лучиною; в ней есть орган и распятие да на вышке небольшой колокол. Ни внутри, ни снаружи нет никаких портативных драгоценностей. Перед капеллою расчищена полянка, посредине которой приютилась маленькая колонка. Это памятник Ренту; а вокруг, под большими ве-

ликотепными соснами, стоят скамейки, на которых любят сидеть охотники до поэтической тишины. Здесь прелестно читать, и этим пользуются немногие любители чтения, какие кое-где еще остаются. Хорошо идесь играть и в крокет, но это не позволяется. На дорожках, ведущих к капелле, есть столбы с надписями: «Просят не играть в крокет у капеллы». По мнению немцев, дом молитвы надо удалить от шума: ему пристойна тишина. Няньки этим недовольны и приводят сюда генеральских детей, которые тщательно брыкают ногами в памятник покойного владельца Меррекюля и стараются оборвать окружающие цоколь цепи. Люди бурных инстинктов не найдут это место веселым; но многие говорят, что здесь им «хотелось молиться».

Лет двадцать или больше назад сюда по некоторым особому рода обстоятельствам прибыл из Петербурга православный священник Александр Гумилевский. Он был человек молодой, горячий и мягкосердечный, с любовью к добру, но без большой выдержанности и последовательности. Он начал проповедовать и так увлекся своим маленьким успехом,

что счел себя за Боссюэта и позабыл об Аскоченском, которым тогда действовал в духе и силе нынешнего Мещерского. За это неосторожный бедняк был смещен из Петербурга в Нарву, где все чрезвычайно не нравилось и ему и его домашним.

Думали однако, что он еще дешево отделался и что ему могло бы достаться гораздо хуже; но митрополит Исидор не любил портить жизнь людям.

Вина же Гумилевского состояла в том, что он «увлекся духом христианина» и вообще был родственен по мыслям архимандриту Федору Бухареву, который все хотел примирить «православие с современностью», и достиг только того, что его стали называть «enfant terrible[11] православия». Аскоченский, как жрец, «заклал» его и «обонял воню его крови». Но архимандрит Бухарев был умнее и характернее Гумилевского, и притом он был одинок в то время, когда Аскоченский вонзил ему в грудь свой жертвенный нож и «бегал по стогнам с окровавленной мордой». Одиночество для борца – большое удобство!

В Нарве Гумилевскому приходилось тер-

петь и от своих и от чужих; а главное, здесь ему не перед кем было говорить свои экспромты. Русская публика в Нарве к этому не приучена, и жаждавший деятельности молодой и действительно добрый человек почувствовал себя лишенным самого дорогого и приятного занятия и начал было заниматься иным делом, но остановился. В Меррекюле он встретил знакомых петербургских генеральш и задумал с ними построить здесь «маленькую, но хорошенькую православную церковь». В ней добрый священник надеялся опять «расширить уста своя», так как он мог надеяться, что идоложертвенный Аскоченский имеет на кого метаться в Петербурге, и что будет сказано за Нарвою – он того не услышит. Можно будет говорить самые смелые вещи, вроде того, что все люди на свете имеют одного общего отца; что ни одна национальность не имеет основания и права унижать и обижать людей другой национальности; что нельзя молиться о мире, не почитая жизни в мире со всеми народами за долг и обязанность перед богом, и т. д. и т. д. Все это Гумилевский любил развивать в петербург-

ском рождественском приходе и хотел пустить генеральшам в Меррекюле, что и было бы кстати.

Выбор места для русской церкви в Меррекюле был обдуман «с русской точки зрения». Церковь не хотели прятать, как Вальдкапеллу, а напротив – находили, что нужно «выдвинуть ее на вид». И потому ее построили при большой дороге, по которой ездят в Нарву на базар и к бойням, где режут животных на мясо. Церковь должна всем бросаться в глаза: через это кое-что может перепадать в кружку от прохожих и проезжих (последнее, однако, не оправдалось, но, может быть, только потому, что чухны очень расчетливы и скупы). Во внешней отделке русская церковь тоже превзошла Waldkapelle. Та хотя и привлекает своим *gemütlichkeit*'ом,[12] но лишена всякого блеска, и в ней даже украсть нечего. Нашу церковь покрыли белой жемчужной краской и раззолотили по кантам. «Золото заиграло на солнце», а ночью к алтарю храма протянул свою дерзкую руку вор и унес кое-какие ценности, которые ему попались под руку. Потом это повторилось и еще раз, а проповеди, в том

духе, как предполагал Гумилевский, в этой «маленькой, но хорошенькой» церкви не последовало. Гумилевскому, который надеялся направлять курс нового корабля по-своему, не пришлось этого выполнить. Его пожалели и возвратили в Петербург в больничную церковь «напутствовать умирающих», которым он мог говорить что угодно, а они могли узнавать о пользе его внушений только в новом существовании. О проповеди в Меррекюле более не заботились. Меррекюльскую церковь приписали к собору в Нарве, откуда и до сих пор приезжают сюда священник и дьякон, служат вечерню и всенощную в субботу, а на другой день обедню, и опять уезжают в Нарву.

Проповеди не бывает, но хлопот все-таки много, и все кто стоит порядочных денег для ктиторской кассы крошечной церкви. Казалось, что доход мал оттого, что ко всенощным мало ходят, потому что в это время ходят гулять и слушать музыку. Позаботились, чтобы под праздник на Визе не играла музыка; но, однако, это немцам помешало, а церкви не помогло: гуляют и без музыки. Попробовали

показать великолепие и учредили крестные ходы из храма на Казанскую и на Спаса. Это произвело впечатление, так как таких религиозных церемоний здесь еще не видали; но эстам не разъяснили значения этих процессий, и они до сих пор называют это тоже «гуляньем». Ношение блестящих на солнце вещей из русского храма сделало только церковь предметом внимания воров, которые все думают, что там «гибель денег».

Явилась необходимость нанимать постоянного сторожа на целый год; но и при стороже воры опять приходили. Чтобы спасти соблазняющее их богатство, драгоценности стали увозить на зиму частью в Нарву в собор, частью к старосте, что тоже рискованно и не совсем законно. Но всего более изнуряет «доставка духовенства» к каждой службе, и чтобы избежать этого, нашли нужным построить в Меррекюле *летнюю поповну*.

Предприятие в этом роде показывает, что дела за Нарвой шли совсем не в том направлении, какое предсказывал Катков, и впереди это будет доказано еще ярче.

Постройка летней поповки в Меррекюле представляла затруднения: опасались, что свои собственные власти найдут это, пожалуй, излишним и не велят строить; но можно построить дом для школы, так, чтобы она была меньше школою, чем поповкою и сторожкою. Это сделали. Построили дом, вместимостью не меньше храма, покрыли его железом; даже загородили проходившую тут проезжую дорожку, чтобы ни конный, ни пеший не мешали делать что нужно, и вот что придумали: завести в этой русской школе такого учителя, чтобы он за одну учительскую плату был тоже церковным сторожем, а к стати также был бы летом звонарем, подметал бы церковь и ходил у дьякона, у батюшек и у старосты на посылках...

Такого учителя выражали желание достать для русской школы в Меррекюле, чем надеялись и достичь большой экономии и пристыдить чухон; но прежде чем успели в этом, пришел в «собрание прихожан» мясник Волков и заговорил для всех неучтиво и неласково, будто при постройке дома для меррекюльской поповки исконный враг наш дья-

вол смутил строителя так, что он и не мог хорошо различать своего от церковного; словом, возглашено знакомое слово «вор», и... пошло дело об обиде...

Сказались мы и здесь опять в своем виде и в своих правилах.

Но это еще дело провинциальных аборигенов: приезжие генеральши сделали для пропаганды гораздо больше.

VII. Апофеоз

Побережный житель Финского залива хотя и суеверен, но у него не тот жанр в суеверии, как у настоящего «твердо-земного» русского человека. Здесь много чего не дохватывает. У нас, например, есть блаженные и юродивые, а у здешних этого нет, и они даже считают людей подходящего к этому сорта за плутов или дураков. Отсюда совсем разные отношения к людям, и что у нас готовы признать за святость, – за то здесь гонят со двора. В Меррекюле, как он просиял на свете, никогда святых не было; однако дамы наши нашли здесь очень замечательного человека и дали ему славу.

Человека, о котором наступает речь, знали здесь с самого дня его рождения. Теперь ему было около шестидесяти шести или шестидесяти семи лет. Имя его Ефим Дмитриевич, а фамилия Волков. Он тут родился и здесь же в Меррекюле умер по закончании летнего сезона 1893 года. Всю свою жизнь он пьянствовал и рассказывал о себе и о других разные вздоры. За это он пользовался репутациею челове-

ка «пустого». Местные жители не ставили его ни в грош и называли самыми дрянными именами.

О прошлом его приходилось слышать следующее. Лет до двадцати он висел на шее у родных и ничего не хотел работать; его сдали в пастухи, – он растерял или пропил овец; его представили барону, тот его наказал по праву вотчинника и оставил при дворе. Ефим снискал себе расположение домоправителя, которому сумел подслужиться, и быстро овладел секретом незаметно уносить и обратно вешать ключи от баронского погреба. Тут Ефим, или, как его эсты называли, «Мифим», перепробовал много дорогих вин. Занимался он этим комфортабельно: проводил целые ночи в погребах, а утром выходил, дополнив отпITYе бутылки чем мог. На этом деле он и был взят на месте преступления и отдан в солдаты; но здесь «притворился безумным», отлично «выдержал испытание на сумасшедшего» и явился в Нарву. Сделавшись свободным человеком, Мифим сначала является в одном местном учреждении в должности «вышибайлы», но повел себя двусмысленно, и ка-

кой-то австралийский «кептен» сокрушил его так, что он стал хворать и не мог больше служить вышибайлом. Тогда он начал ходить по городу и питался Христовым именем.

С устройством православной церкви в Меррекюле Мифим усмотрел в этом повод занять здесь «привилегию нищенства» и «переехал на дачу». Сначала он обтекал всю линию: посещал дачников Гунгербурга, Шмецка и Меррекюля; знакомился, располагал к себе сердца состраданием, как к герою из-под Плевны. Он приставал к кому попало, и те, кто нравом помягче, давали ему двугривенные и гривенники, которые он тотчас же неукоснительно пропивал. Гардероб его всегда был самый нищенский: он всегда был полубос, без белья и одет в лохмотья. Репутацией скромного нищего он не дорожил, а представлял это другому русскому специалисту, Сереге. Мифим, напротив, бравировал своим дерзновением и любил держать себя «применительно к человеку». Молодым людям он предлагал услуги, пригодные для образования мимолетных знакомств; другим переносил вести, а третьим воровил и «предсказы-

вал будущность». Кроме того, Мифим лечил от порчи скот; но скоро прошел слух, что, прежде чем вылечить животное, он сам будто его портит. По этому поводу с Мифимом в лесу случилась неприятность, от которой он хромал и переселился в Шмецк. Здесь он нанял за шесть рублей в лето развалившуюся баню у кузнеца Карла Шмецкэ и жил там тихо и «на спокойное кашлял»... Но едва бог помог ему поправиться, он сейчас же опять делается полезным человеком и начинает указывать крестьянам, где они должны отыскивать уходящих с пастбища коней. Лошадь уйдет, и ее не могут найти, а Мифим погадает и говорит:

– Я ее вижу: она вот где!

Поведет хозяев через лес в болото и покажет, что их пропадающая животина в самом деле «сидит» в топи и дожидается, чтобы ее вытащили.

Скотину вытащат, а Мифимке дадут за колдовство. Заработка от этих статей было бы достаточно; но крестьяне стали подозревать, что Мифим нечестно живет, – что он сначала сам загоняет скотину в болото, а потом приходит и отгадывает. И вот ему не только не ста-

ли давать обещанных за розыск денег, а погрозили его прибить. Четыре года тому назад, когда Мифим жил в Шмецке у кузнеца Карла Ивановича, подозрения против него ожесточились. У кузнеца была вувермановская (белая) лошадь с удивительно густым, пушистым хвостом. Звали ее «Талька». Лошадка была сытая, статная и удалой ухватки. Она ходила утром по росе в кустах близ дома вместе с другою лошадкою, с которою была очень дружна, и вдруг, когда ободняло и люди встали, – рыжая лошадка ходила в кустах, а вувермановской «Тальки» не было.

Увести ее не могли, – это было бы слишком дерзко; убежать она *одна* не могла, так как обе лошади были дружны... Всего вероятнее казалось, что «Тальку» кто-нибудь *угнал*.

Но куда? И где ее теперь держат?

Мифим взялся угадать, где лошадь, и потребовал за это три рубля; но ему денег не дали, а отправились в лесную глушь, в которой на днях кто-то встречал Мифима, – и «Талька» была здесь отыскана, затопленная в болото по самую шею... Животное совсем уже выбилось из сил: голова лошади вся была облепле-

на комарами и глаза заплыли от укусов; однако бедная «Талька» еще дышала и, услышав знакомые голоса людей, отвечала ржанием. Наложили доски и лошадь вытащили, а Мифим увидал, что это ему чем-то грозит, и сделал диверсию: он съехал от кузнеца и повернул все свое направление на другую статью.

До сих пор он держался «военной линии» и рассказывал о себе по секрету, что он через какое-то особенное дело стал вроде французской «Железной маски» или византийского «Вылезария», а после истории с «Талькой» он начал набожно вздыхать, креститься и полупшепотом спрашивать: «Позвольте узнать, что нынче в газетах стоит про отца Иоанна и где посещает теперь протосвятитель армии – Флотов?»

Особенно ему всегда нужно было знать: «где протосвятитель Флотов?» Но цель своей надобности он скрывал.

– Так, нужен он мне вот-вот всего на одну на минуточку, чтобы он на меня взглянул и я мог ему произнести всего одно слово, и тогда увидали бы, что я не Ефим, а может быть, – *Эфир!*

Моя знакомая генеральша подала повод к тому, что Мифим получил возможность причислять себя к «церковному штату».

Когда за генеральшею в церковь прошла ее собака и потом такой случай еще раз повторился, Мифимка предложил старосте свои услуги, чтобы ему стоять у дверей и «не пускать собак господ», а староста за это чтобы платил полтинник в месяц.

Предложение было принято, и Мифим пришел с хворостиною и прежде всего прогнал от храма трех нищих старух и стал у дверей. Таким образом он захватил себе «привилегию нищенства».

С этих пор он начал считать себя «членом штата» и стал оказывать приходу большие услуги.

Здесь водится такой обычай, что перед тем, как духовенство хочет идти со святыней, по дачам посылают «брандера», чтобы не получать отказов, а заблаговременно узнать: кто примет, а кто не примет?

Мифим «пошел брандером» и, идучи путем-дорогою, достиг к моей генеральше, и

здесь его так развезло, что он открылся ей, будто он православный священник, который находится под ужасным несчастьем за то, что не своею волею повенчал совсем особенную свадьбу.

Генеральша как услышала об этой свадьбе, так и ахнула. То, о чем она узнала, еще никому не было известно.

Генеральша задыхалась от смешанных чувств, которые подняло в ней это открытие. И страх, и радость, и любопытство... все вместе ее совсем одурманило; и чтобы что-нибудь сделать, она бросилась к Мифимке с раскрытыми пригоршнями и завопила:

– Батюшка, благословите!

Мифим сумел ее благословить, а она поцеловала его руку.

Чтобы не оставаться одинокою при таком открытии, одна генеральша сообщила свой секрет другой, и дамы узнали, что Мифим есть самый удивительный «венчальный батюшка». Такой человек должен иметь дар помогать. А брачных надобностей так много.

У второй генеральши три взрослые дочери, и ни одна из них не выходит замуж, пото-

му что все мужчины «подлецы» и «не женятся».

Вторая генеральша нашла, что Мифимково благословение может быть им полезно: но Мифим обнаружил осторожность и не захотел благословлять девиц в доме, при прислуге, а велел вывести их в лес, к санным стогам, и у стогов благословил их и дал облобызать свои руки.

И что же? В следующую же зиму одна из этих генеральских дочерей неожиданно вышла замуж! Число охотниц целовать Мифимкину руку после этого умножилось; к нему выводили девиц, и он их благословлял.

Но вот один из таких случаев благословения в лесу из-за стогов подглядели чухны, и не поняли, что это такое дамы делают с Мифимкою, и начали рассказывать:

– Тамы-то на него рестятся и ку ему риклятаются. а он таит та на ных мiется.[13]

Поблагословив дам прошлого сезона, Мифим в последних числах августа 1893 года пошел в винный погреб негоцианта Звонкова и, испив «до воли», закрихтел и переселился в вечность...

Одному лицу, которое с любопытством наблюдало духовную практику Мифимки, казалось, будто он не только благословляет дам и их дочерей, которым «бог долго судьбы не даст», но что он будто бы тоже исповедовал их у стогов и в бортищах; но сам Мифим энергичски опровергал это, и я верю его отрицательству. Он был человек смелый и даже дерзкий, но осторожный и расчетливый: называться таинственным священником – «времен Лориса» и благословлять – это он мог, и я утвердительно могу говорить, что это он делал и считал это за неважное, потому что «не заедал чужого хлеба»; но исповедь совсем иная статья: это могло повредить Мифиму. Словом, хотя об этом говорили, но я уверен, что это неправда. Но, кажется, нет никакого сомнения, что Мифим оказывал дамам другие услуги, благоприятные для их видов.

Мне припоминается еще одна генеральша, большая, дебелая, тоже южной породы, с безгранично любящим материнским сердцем и с неукротимым воображением. У нее «блекла дочь», и мать виноватила в этом ее мужа, еще довольно молодого и, кажется, очень поря-

дочного человека.

– Вообразите, – говорила она, – всего четыре года, как он женат на моей дочери, а уже манкирует жене.

Я ей ответил, что это, кажется, иногда и лучше.

Генеральша отвергла.

– Ну, нет, – извините! – воскликнула она. – Если вы это, может быть, по Толстому, то это так; но он напрасно расписывается за всех женщин. Может быть, такие и есть, как он высказывает, но для этого их надо было особенным образом изуродовать с детства. А моя дочь, как вы видите, это живая и полная жизни женщина, а не толстовка. О, она не толстовка! Нет, нет, нет – не толстовка! Ею манкировать нельзя, потому что она блекнет. Вы видите, какая она!.. Она и сама не понимает, что с нею делается, но она была цветок!.. Я это и понимаю, но что же я могу сделать? Ничего! Муж к ней невнимателен, и баста! И целая вещь! Таких негодяев теперь довольно много. Теперь, говорят, даже в природе что-то такое распространяется к тому, чтобы ничего не надо, и явилась такая порода мужчин, в блузоч-

ках, и ножками стучат и сопят... Тогда и видно; но ведь человека, который одет как все, нельзя раньше знать! Не правда ли?

– Да.

– А какие-то ученые утверждают, что еще хуже будет. У образованных мужчин скоро совсем уж не будет детей. Переутомление. Вот ужас! Понимаете? Целую неделю он остается в Петербурге, а мы здесь, и он ничего не испытывает, а в субботу едет сюда и везет, болван, с собою в кармане новую книжку... Какое остолопство! Такие не должны жениться. Одна моя знакомая, которая была за учеными мужьями, и все они были дрянь, а теперь она вышла за казака, и говорит: «Поверьте, что настоящие мужья – это только казаки! Пусть все это знают!» Я и верю, потому что казак – это дичок, он еще не подвергался в школе переутомлению, и он всегда просто ест; у него желудок все варит, даже, прости господи, хоть сальную свечку, и он верхом, в движении, – и ему хочется жить, и вот он ценит присутствие женщины... А эти еще по своей развращенности от служебных дел едут в ша-то-кабаки и пялят глаза на испанок и цыга-

нок... Но тогда зачем жена?

Генеральша ударила себя обеими ладонями по выступам своего корсета и повторила:

– Забывают-с, что молодая жена *хочет жить!* Понимаете: она *имеет* право! Да; что ваш Толстой ни говори, а она имеет это право. И потому, когда мой зять вынимает из своего кармана волюм Zola или Bourget, я делаю над собою огромное усилие, чтобы не закатить ему плюху. Дурак и подлец! При цыганках небось не читает, а при жене читать!.. Свинья! Это только для того, чтобы не оставаться с глазу на глаз с совестью. А от этого бледность, от этого вялость и малокровие, и сужен, совсем уничтожен весь интерес к жизни... Это надо кончить! Зачем на бедных женщин кричать *adultère*?[14] Этого слова до Толстого не произносили! Если нельзя развода, то нужен *revanche*. [15]

– Берегитесь, это может услышать ваша дочь.

– И я желаю... Я ей это и говорю... Но она глупа... Или она, может быть, меня стесняется... Или она не понимает... не говорит!.. О, если бы эту мысль ей вложил человек... кото-

рый мог бы ее успокоить, что это неважно... неважно... Потому что это неважно!..

И вот тут, может быть, Мифим кому-нибудь и помог... Он был не строг и мог все *разрешить*.

По крайней мере одной даме, которая имела к нему веру и «блекла от невнимания», Мифим сообщил решимость, воспоминание о которой вызывало розы на ее ланиты; а ее татап любовалась ею и шептала ей Деруледово слово:

– «Nitchevo!»

Генеральши про Мифима, вероятно, скоро забудут и найдут себе иного тамватурга; но чухны, которые хорошо знали, что за человек был их меррекюльский Мифим, «мiются».

Впервые опубликовано – «Книжки „Недели“», 1893.

Примечания

Учение о тайне (*лат.*).

[^^^]

«Уединенное государство в отношении к общественной экономии, из творения З. Г. фон Тюнена, мекленбургского эконома, извлечено и приспособлено для русских читателей Матвеем Волковым. Карлсруэ, в придворной типографии Б. Госнера. Печ. позв. 7 февр. 1857 г. Цензор Б. Бекетов». (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

См. статью Вл. Соловьева «Беда с востока» (*Прим. Лескова.*).

[^^^]

4

Другая половина Райского была приобретена Фед. Ив. Селивановым. (*Прим. Лескова.*).

[^^^]

Владимир Петр. Бурнашов скончался недавно в Мариинской больнице, в Петербурге, в возрасте очень преклонном. В последние годы жизни сотрудничал в изданиях гг. Каткова и Комарова. Оставил много автобиографических заметок, из которых было напечатано извлечение в «Историческом вестнике». По словам его, вращаясь в литературных кружках, он иногда служил и не одним литературным потребностям. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

6

15 сентября 1893 года этот стих полностью воспроизведен в весьма известной русской газете. (*Прим. Лескова.*).

[^^^]

«Петербургская газета» (нем.).

[^^^]

8

У него хорошая голова (*франц.*).

[^^^]

9

Это не серьезно, вы знаете (*франц.*).

[^^^]

Лесная капелла (нем.).

[^^^]

Ужасный ребенок (*франц.*).

[^^^]

Уютностью (*нем.*).

[^^^]

«Дамы на него крестятся и к нему прикладываются, а он стоит да на них смеется». (Прим. Лескова.).

[^^^]

Нарушение супружеской верности (*франц.*).

[^^^]

Реванш (*франц.*).

[^^^]